

*Вопросы филологии***И. А. ГОНЧАРОВ И Ф. М. ДОСТОЕВСКИЙ***В. И. Мельник*

Работа выполнена при поддержке РГНФ. Грант 08-04-00079а  
«И. А. Гончаров и мировой литературный процесс».

Тема «Гончаров и Достоевский» кажется, на первый взгляд, весьма неперспективной: слишком бьют в глаза существенные различия в мировоззрении, поэтике двух писателей. Когда-то Л. Толстой подчеркнул эти различия следующими словами: «Конечно, это настоящий писатель, с истинно религиозным исканием, не как какой-нибудь Гончаров»<sup>1</sup>. Действительно, «религиозное искание» есть стержень мировоззрения. И если его нет, то все остальные точки соприкосновения уже не имеют особого значения: различия будут гораздо более значимыми.

Однако сегодня уже ясно, что Гончаров не менее напряжён, хотя и не столь демонстративно, как Достоевский, искал религиозную истину<sup>2</sup>. Лишь теперь возникла возможность более глубоко взглянуть на творчество двух писателей в их сопоставлении и наконец обратиться к главному: к историософии двух авторов, видевших исторический путь человечества в свете религиозной истины, а потому неизбежно близких в чём-то существенно важном. До сих пор внимание обращалось лишь на поэтику, творческую манеру писателей, а это — при резких индивидуальных различиях Гончарова и Достоевского — приводило сразу только к противопоставлению<sup>3</sup>. При сопоставлении его творчества с творчеством Достоевского речь должна идти прежде всего об историософии Гончарова.

По характеру, темпераменту, да и по общественному положению (Гончаров впоследствии занимал высокие должности в цензурном комитете, стал действительным статским советником) они чрезвычайно рознились. В каком-то смысле они были противоположностями — по свойствам как характера, так и творческого дарования. Насколько Достоевский горяч, страстен, настолько Гончаров спокоен и уравновешен. Достоевский в своих романах показывает прежде всего *идею* личности, в то время как для Гончарова идея всегда выражена в пластическом образе. Достоевский в своих произведениях то и дело прибегает к курсиву, дабы подчеркнуть эту идею. У Гончарова это невозможно. Оба писателя были людьми глубоко религиозными, но если у Достоевского «осанна» прошла через горнило сомнений, то Гончаров веровал просто, с детских лет не выходя из церковной ограды. У Гончарова и Достоевского — разный предмет художественного исследования. Первый изображает человека в его стремлении к равновесию, его последовательный путь к идеалу. Достоевский изображает сломы настроений, вызванные страстностью и максимализмом характеров героев.

Вряд ли отношения столь разных по характеру и творческим кредо писателей могли быть безоблачными. Но и при всём том они оказывались неожиданно близки — прежде всего в своей тяге к масштабным концептуальным обобщениям, в своём видении современной русской и мировой жизни — в контексте «Божественного замысла» о человечестве. Разумеется, тема эта огромна и требует для своей разработки больших усилий. Современная наука, решаясь на акцентирование параллелей между творчеством двух великих авторов, останавливается пока лишь на незначительных, по сути дела, частностях, касающихся поэтики, отдельных мотивов. В этом смысле мы пока лишь на подступах к большой теме. Кроме того, до сих пор нет и цельной картины творческих и биографических взаимосвязей двух писателей. В настоящем исследовании мы попытаемся насколько возможно восполнить этот пробел.

Ф. М. Достоевский и И. А. Гончаров вступили на литературное поприще в 1840-е гг. Оба они прошли через кружок В. Г. Белинского, через увлечение Н. В. Гоголем. Затем поддерживали определённые взаимоотношения вплоть до смерти Достоевского. Они познакомились в 1846 г. в салоне Майковых<sup>4</sup>. Романы «Бедные люди» и «Обыкновенная история» появились практически в одно время: в 1846 и в начале 1847 гг. Достоевский сразу воспринял Гончарова как соперника в литературе, и соперника счастливого. «Явилась целая тьма новых писателей. Иные мои соперники. Из них особенно замечателен Герцен (Искандер) и Гончаров. 1-й печатался, второй начинающий и не печатавшийся нигде. Их ужасно хвалят. Первенство остается за мною покамест и надеюсь, что навсегда...»<sup>5</sup> Достоевский всегда ревниво следил за творчеством Гончарова.

Очевидно, что писатели не только лично знакомы, но и периодически встречаются в кружке Белинского и в салоне Майковых. К Белинскому оба они относились с большим пиететом. Воспоминание о его светлой личности они пронесли через всю жизнь. Нет никаких сведений, указывающих на конкретные встречи двух романистов в 1840-е гг. Пути их расходятся в апреле 1849 г., когда Достоевский был арестован по делу М. В. Петрашевского<sup>6</sup>.

В то время как Достоевский находится в ссылке, Гончаров выступает как цензор сначала (1858) журнала «Время», редактором которого является М. Достоевский<sup>7</sup>, а затем «Села Степанчикова», причём Гончаров «не вымарал ни одного слова» из романа<sup>8</sup>. 23 ноября 1859 г. М. М. Достоевский, посылая в Тверь брату экземпляр «Села Степанчикова», приписывает, что Гончаров «хвалил с оговорками. Какими, не знаю»<sup>9</sup>.

20 апреля 1859 г. в «Отечественных записках» вышла последняя часть романа «Обломов»<sup>10</sup>. Достоевский в это время находится в Семипалатинске. Готовится к выходу «Дядюшкин сон» и идёт усиленная работа над «Селом Степанчиковым»<sup>11</sup>. Очевидно, Достоевский в Семипалатинске следил за выходом романа «Обломов» и читал его в журнальном варианте. В то время как Н. А. Добролюбов в статье «Что такое обломовщина», Л. Н. Толстой в частном письме и другие дают одобрительные отзывы о новом романе Гончарова, Достоевский пишет в письме к брату М. М. Достоевскому от 9 мая 1859 г. о романе: «По-моему, отвратительный»

(28. I. 325)<sup>12</sup>. Трудно сказать, отчего Достоевский даёт столь уничижительную оценку капитальному произведению Гончарова. Можно предположить одно: он не увидел в романе «идей», вернее, не сразу разглядел их. Акцентированная Добролюбовым «обломовщина» не была принята (как показала статья А. П. Милюкова, вскоре вышедшая в журнале Достоевского) им за «новую идею». Здесь Достоевский явно недооценил мощь и многосмысловое значение гончаровской пластической образности. Впрочем, не он один так низко оценивал способность Гончарова к масштабной «идее»<sup>13</sup>.

В середине 1860-х гг. у Достоевского уже оформлена одна из его главных «идей» о ходе человеческого развития, об отношениях Бога и человечества. Если Гончаров во «Фрегате “Паллада”» и в своих романах акцентирует идею цивилизации как части Божьего Промысла о человеке, то для Достоевского это идея «вчерашнего дня». В набросках к своей статье «Социализм и христианство» он намечает свою «историософию», которая глубоко проявится в его творчестве, а в открытом виде — в «Сне смешного человека». Итак: «Когда человек живёт массами (в первобытных патриархальных общинах, о которых остались предания) (это Достоевский и увидел в «Сне Обломова». — В. М.) — то человек живёт *непосредственно*.

Затем наступает время переходное, то есть дальнейшее развитие, то есть цивилизация. (Цивилизация есть время переходное.) В этом дальнейшем развитии наступает феномен, новый факт, которого никому не миновать, это развитие личного сознания и отрицание непосредственных идей и законов (авторитетных, патриархальных, законов масс). Человек как личность всегда в этом состоянии своего общегенетического роста становился во враждебное, отрицательное отношение к авторитетному закону масс и *всех*. Терял поэтому всегда веру и в Бога. (Тем кончались всякие цивилизации...) Это состояние, то есть распадение масс на личности, иначе цивилизация, есть состояние болезненное. Потеря живой идеи о Боге тому свидетельствует... Если б не указано было человеку в этом его состоянии цели — мне кажется, он бы с ума сошёл всем человечеством. Указан Христос... В чём закон этого идеала? Возвращение в непосредственность, в массу, но свободное... Патриархальность было состояние первобытное. Цивилизация — среднее, переходное. Христианство — третья и последняя степень человека, но тут кончается развитие, достигается идеал...» (20, 191–194).

Достоевский, разумеется, недооценивал способность Гончарова к философскому осмыслению действительности, хотя и чувствовал в нём нечто родственное, видя, например, в «Сне Обломова» явный образ того, что сам он называет патриархальной жизнью или «законом масс». Неясно пока, читал ли Достоевский «Фрегат “Палладу”» Гончарова, а если читал, то сумел ли оценить историософскую (цивилизационную в основе) концепцию этой книги, а стало быть, и чрезвычайную близость к себе Гончарова как мыслителя, поднимающего тот же вопрос, что и он сам: «Бог и человечество». Судя по всему, Достоевский несколько свысока смотрел на возможности Гончарова как мыслителя (но не как пластического художника), что, вероятно, и помешало ему в полной мере оценить его духовную и философскую близость. Хотя, как уже говорилось, автор «Сна смешного человека»

и «Братьев Карамазовых» в конце концов сумел почувствовать в Гончарове некое сходство идейного поиска.

Всё дело в том, что Гончарова интересует лишь столкновение того, что Достоевский называет «патриархальностью» (первый этап развития человечества, отражённый в «Сне Обломова») и «цивилизацией» (деятельность Петра Ивановича Адуева, Штольца, а также — в морально скорректированном виде — Тушина, деятельность англичан, России, Америки в Сибири и малоразвитых азиатских и африканских странах, как это отразилось во «Фрегате “Паллада”» и пр.). Причём в «цивилизации» Гончаров видит и потенциал «христианства», то есть, по Достоевскому, уже третьего этапа развития человечества. «Письма столичного друга к провинциальному жениху» Гончарова особенно явственно подчёркивают, что Гончаров пытается в самом «болезненном» цивилизационном периоде развития человечества усмотреть ростки христианства. Он пытается увидеть, как в современной цивилизованном обществе человеческая личность может сохранить в себе и реализовать в обычной жизненной практике христианский идеал. Отсюда появляется значащее для него понятие «порядочный человек». И отсюда же — у Гончарова не столь резкое определение цивилизации, как у Достоевского, который называет её «болезненное состояние». Для Гончарова цивилизование мира есть не только болезнь, как у Достоевского, но и выполнение Божьего «задания»: превратить пустыни в сады, вернув тем самым Богу «плод брошенного Им зерна» («Фрегат “Паллада”»). Достоевский подчёркивает в Боге идею справедливости и совести, Гончаров — творчество. На перекрестке этих понятий и возникают все схождения и различия между Достоевским и Гончаровым как писателями со своими историсофскими концепциями.

Только после «Записных книжек» 1864–1865 гг., в которых оформилась историсофия Достоевского, после «Преступления и наказания», где образ Обломова присутствует в своём плоскостном переложении, Достоевский начинает понемногу вглядываться в глубину гончаровского творчества и, вероятно, замечает в нём хотя и не сходную со своей, но глубокую, религиозную по сути, философию истории. Тон высказываний о Гончарове и его героях, о его произведениях начинает меняться. Но произошло это не сразу. В начале 1860-х гг. он видит в образе Обломова олицетворение лени, апатии, эгоизма.

Роман «Обломов» явно его задевает за живое, и не только блестящей литературной отделкой, но и образом главного героя. К началу 1860 г. у него уже существовал замысел, условно обозначенный им как «Апатия и впечатления». Авторы «Летописи жизни и творчества Ф. М. Достоевского» отмечают по тому поводу: «... замысел “Апатия и впечатления” воплощён не был. Возможно, это условное название задуманной публицистической статьи (III, 540), связанной с недавно вышедшим романом Гончарова “Обломов”: в нём тема апатии является сквозной (апатия, т. е. “сон души”, ч. II, гл. III) – привычное состояние героя романа. Возможно, с этой же записью связан замысел статьи, условно названной “Гончаров”. — XX, 168»<sup>14</sup>.

Позицию Достоевского относительно романа «Обломов» должна была скорректировать и статья фактического редактора журнала «Свечок» А. П. Милюкова об отдельном издании «Обломова»<sup>15</sup>. Характерно, что статья Милюкова по назва-

нию прямо перекликается с замыслом Достоевского: в названии звучит слово «апатия», только Милюков ставит национальный акцент: «Русская апатия и немецкая деятельность». Милюков, как и Достоевский, оценивает Гончарова-художника с двух основных точек зрения: его интересует, с одной стороны, «идея», а с другой — «блестящий талант» Гончарова. В духе Достоевского критик настаивает на идейной слабости романа Гончарова<sup>16</sup>. Тем не менее он вынужден признать за романом «Обломов» высокие художественные достоинства: «Рассматривая это произведение помимо его идеи и главных лиц, мы должны прямо сказать, что оно отличается высокими красотами ... в художественной стороне романа виден мастер, которого прямо можно поставить наряду с Гоголем ... сочинение это по художественным достоинствам принадлежит к капитальным явлениям нашей литературы»<sup>17</sup>. Очевидно, что позиция Милюкова весьма близка позиции и оценке Достоевского.

Но, как мы уже видели, со временем восприятие Достоевского стало более взвешенным. Со времени выхода «Обломова» Достоевский уже никогда не оставляет без внимания этот гончаровский роман. Он возвращается к мысли об Обломове и в 1860-е, и в 1870-е годы. Причём в его отзывах об Обломове заметны значительные разночтения. В «Записной книжке» за 1864–1865 гг. Достоевский ещё пишет: «Обломов. Русский человек много и часто грешит против любви; но и первый страдалец за это от себя. Он палач себе за это. Это самое характерное свойство русского человека. Обломову же было бы только мягко. Это только лентяй, да ещё вдобавок эгоист. Это даже и не русский человек. Это продукт петербургский. Это также и барич, но и барич-то уже не русский, а петербургский» (20. 204)<sup>18</sup>. В определении писателя Обломов — это всего лишь «лентяй» и «эгоист», не более. И человек, далёкий от России, если учесть, какой смысл вкладывал Достоевский в слово «петербургский» (внепочвенный).

После 1867 г. рядом со столь резким и односторонним определением у Достоевского появляются и иные, и даже прямо противоположные определения, свидетельствующие о том, что Обломов, в представлении Достоевского, тип как раз-таки национальный, русский. Так, в «Дневнике писателя» Достоевский в феврале 1876 г. даёт свой замечательный отзыв о герое «Обломова»: «Вспомните Обломова, вспомните “Дворянское гнездо” Тургенева. Тут, конечно, не народ, но все, что в этих типах Гончарова и Тургенева векового и прекрасного, — все это от того, что они в них соприкоснулись с народом; это соприкосновение с народом придало им необычайные силы. Они заимствовали у него его простодушие, чистоту, кротость, широкость ума и незлобие, в противоположность всему изломанному, фальшивому, наносному и рабски заимствованному»<sup>19</sup>. Упоминание Обломова в записных книжках середины 1860-х гг. свидетельствует о пристальном и постоянном внимании Достоевского к роману «Обломов». Но в это время гончаровский герой всё ещё воспринимается Достоевским как некая упрощённая схема (лень и эгоизм). Этот-то упрощённый образ Обломова войдёт отголосками в роман «Преступление и наказание».

Учитывая замысел под названием «Апатия», легко понять, что мотивы «Обломова» не совсем неожиданно вошли в роман «Преступление и наказание». Причём в этом романе Обломов «присутствует» именно в качестве «петербургского продук-

та», лентяя. Чтобы убедиться в этом, достаточно привести разговор Разумихина с доктором Зосимовым о хозяйке Раскольниковова. На попытки Разумихина сблизить с ней Зосимова, последний отвечает вопросом: «Да на что мне она?» В речи Разумихина Достоевский даёт как бы квинтэссенцию идеи «обломовщины»: «Эх, не могу я тебе разъяснить никак! Видишь: вы оба друг к другу совершенно подходите! Я и прежде о тебе думал... Ведь ты кончишь же этим! Так не все ли тебе равно — раньше или позже? Тут, брат, это такое перинное начало лежит, — ах! Да и не одно перинное! Тут втягивает: тут конец свету, якорь, тихое пристанище, пуп земли, трёхрыбное основание мира, эссенция блинов, жирных кулебяк, вечернего самовара, тихих воздыханий и теплых кацавеек, натопленных лежанок, — ну, вот ты точно умер, а в то же время и жив, обе выгоды разом!» (6, 161). Здесь интересна даже самая многочисленность приводимых Достоевским формулировок «обломовщины», как она выразилась в той части романа И. А. Гончарова, где изображается идиллия жизни Обломова на Выборгской стороне в доме вдовы Пшеницыной. Достоевский как будто намеренно вызывает в сознании читателя ассоциации с классическим типом Обломова. Обращает на себя внимание формулировка «трёхрыбное основание мира» — ассоциация, навеянная, скорее всего, тоже романом «Обломов». Ведь крестьяне-обломовцы сравниваются автором с древними греками.

Зосимов в восприятии Разумихина — родной брат Обломова: «Ты нервная, слабая дрянь, ты блажной, ты зажил и ни в чем себе отказать не можешь, — а это уж я называю грязью, потому что прямо доводит до грязи (Разумихин как будто судит по опыту Обломова, втянувшегося в тихий быт Агафьи Матвеевны. — В. М.)» (6, 160).

Между «Преступлением и наказанием» и романом «Идиот» пролегает некая граница в восприятии Достоевским образа Ильи Обломова. Теперь Достоевскому интересны не лежащие на поверхности бытовые черты гончаровского героя, а евангельское содержание этого образа, которое он не мог не почувствовать опять-таки лучше всех других современников Гончарова. Евангельский дух романа, насадную ностальгическую ноту, пронизывающую роман Гончарова не только как личностный мотив, но и как отголосок евангельской притчи о «закопанных дарах», Достоевский сумел рассмотреть в тексте «Обломова». Увидел он и евангельскую основу образа главного героя — его необыкновенную и непобедимую никакими обстоятельствами кротость: в Обломове писатель разглядел черты, хотя и отдалённо, но напоминающие Христа. М. А. Александров, работавший в типографии, где печатался журнал Достоевского «Гражданин», вспоминает: «Впоследствии, когда “Идиот” был уже давно мною прочитан, однажды в разговоре коснулись И. А. Гончарова, и я с большою похвалою отозвался об его “Обломове”, Федор Михайлович соглашался, что “Обломов” хорош, но заметил мне:

— А мой идиот ведь тоже Обломов.

— Как это, Федор Михайлович? — спросил было я, но тотчас спохватился. — Ах да! ведь в обоих романах герои — идиоты.

— Ну да! Только мой идиот лучше гончаровского... Гончаровский идиот — мелкий, в нем много мещанства, а мой идиот — благороден, возвышен» (9; 419).

К. Бланк в интересной статье «Мышкин и Обломов» делает акцент на христологическом содержании образа Обломова. Она отмечает: «...исследователи его творчества затрагивали буддистский подтекст романа, но обходили вниманием его христианскую канву, которая, хотя и эксплицитно, но все же присутствует у Гончарова»<sup>20</sup>. К сожалению, американская исследовательница оказалась не знакома с нашими статьями о христианском дискурсе в творчестве Гончарова<sup>21</sup>. Кроме того, она буквально понимает признание Достоевского о «гончаровском идиоте»<sup>22</sup>. Натяжка в данной параллели слишком очевидна.

Чудак и трогательный идеалист Илья Ильич Обломов совсем не «идиот», и эксцентричность его поведения в гостях у Ильинских — лишь признак волнения и влюблённости, но совсем не идиотизма. Достоевский, проводя параллель между образами Мышкина и Обломова, настаивает вовсе не на идиотизме, а на том, что оба героя — «не от мира сего». При этом он подчёркивает, что его князь Мышкин — человек в этом плане «абсолютный», без примеси отягощающего быта и духовных недостатков. В письме к С. А. Ивановой от 1 января 1868 г. Достоевский объяснял свой замысел: «Главная мысль романа — изобразить положительно прекрасного человека... Все писатели, не только наши, но даже все европейские, кто только ни брался за изображение положительно прекрасного, — всегда пасовал. Потому что это задача безмерная. Прекрасное есть идеал, а идеал — ни наш, ни цивилизованной Европы ещё далеко не выработался. На свете есть одно только положительно прекрасное лицо — Христос...» (28. 2. 251).

Очевидно, что среди русских писателей, пытавшихся изобразить «положительно прекрасное лицо», Достоевский числит не только Гоголя, но и Гончарова, с его Обломовым. По мнению Достоевского, Гончаров тоже «спасовал». Стало быть, Достоевский сумел всё-таки разглядеть в Обломове Христа («Обломов — Христос»), а стало быть, почувствовать некую параллельность Гончарова своим поискам идеала, основанным на оригинальной историософии. Разумеется, он не мог принять у Гончарова его христиански-цивилизаторский пафос, считая, что цивилизация и идеал Христа несовместимы. Поэтому он видит в Обломове лишь тень Христа, в то время как в своём князе Мышкине — более духовный, более идеальный, «положительно прекрасный» образ. Образ из будущего. Ведь в «Записных книжках» он пишет: «Христианство — третья и последняя степень человека, но тут кончается развитие, достигается идеал, следовательно, уж по одной логике, по одному лишь тому, что в природе всё математически верно, следовательно, и тут не может быть иронии или насмешки, — есть *будущая жизнь*» (20. 194). То есть если в «Обыкновенной истории» и «Обломове» изображается столкновение патриархальности и цивилизации (прошлого и настоящего), то в романе «Идиот» Достоевский изображает столкновение цивилизации и христианства (настоящего и будущего).

Обломов приходит в петербургскую цивилизацию из прошлого, князь Мышкин — из будущего. Христианские потенции Обломова осложнены чертами из прошлого (лень, апатия, эгоизм), в то время как христианский облик Мышкина взят в чистом виде из будущего. Им обоим нет места в цивилизационном обществе, но

по разным причинам. Отсюда и разность в пластической убедительности образов. Обломов — изваянная скульптура, абсолютно пластический образ, личность «вымирающая», герой, которому дана тихая, как сон, смерть. Князь Мышкин не приживается в реальном современном мире, это гость из будущего, который приехал откуда-то из далёкого швейцарского тумана — и в него же возвращается, окончательно проявляя свои юродивые («не от мира сего») черты. В этом смысле Достоевский был абсолютно прав, говоря: «Мой идиот лучше».

Нельзя не отметить, что, хотя Достоевский и почувствовал положительное начало романа Гончарова именно в образе Ильи Обломова, он с высоты своего религиозного идеала подчеркнул «усреднённость», или, если угодно, «заземлённость» духовного поиска Гончарова, указав на образ Штольца — как на положительный в понимании Гончарова (что не вполне раскрывает замысел Гончарова, но выпрямляет до искажения гончаровскую мысль). В письме к А. Н. Майкову от 25 марта (6 апреля) 1870 г. Достоевский, задумавший уже «Братьев Карамазовых», писал: «Авось выведу величавую, положительную святую фигуру. Это уже не Костанжогло-с и не немец (забыл фамилию) в «Обломове», и не Лопухины, не Рахметовы». После слова «Обломов» добавлено: «Почем мы знаем: может быть, именно Тихон-то и составляет наш русский положительный тип, который ищет наша литература».

Достоевский хотя и почувствовал религиозный потенциал гончаровского романа, как бы не хочет признать до конца, что и Гончаров — писатель «с религиозным исканием». Отсюда акцент на «искании» в области национального менталитета (немец Штолец). Это же акцентирование в Гончарове национального не дало понять Достоевскому и образ Райского в «Обрыве». Подобно тому как Обломова он объявил «петербургским» продуктом, Райского Достоевский называет тоже клеветой на русского человека: «Все начинает человек, задается большим и не может кончить даже малого». Это и дало Достоевскому основание назвать в письме к Н. И. Страхову от 26 февраля 1869 г. образ Райского «клеветой на русский характер»<sup>23</sup>. Но дело в том, что Гончаров многомерен: в его романах безусловно производится анализ национального характера (в этом он следовал за Гоголем), однако в них безусловно наличествует и даже доминирует религиозный поиск (на этом поприще Достоевский сознавал свою исключительность и лишь невольно вынужден был признать, что в Обломове есть черты «Христа»).

Развитие этой же «христианской» линии творческих взаимоотношений Гончарова и Достоевского произошло уже в 1877 г., в «Сне смешного человека», в котором художественно оформляются тезисы из набросков Достоевского к статье «Социализм и христианство». В «Дневнике писателя» за 1876 г. Достоевский пишет о литературе 1840-х гг.: «Это та самая литература, которая дала нам полное собрание сочинений Гоголя... Затем вывела Тургенева с его “Записками охотника”... затем Гончарова, написавшего еще в 40-х годах “Обломова” и напечатавшего тогда же из него эпизод “Сон Обломова”, который с восхищением прочла вся Россия!»<sup>24</sup>

«Сон Обломова», несомненно, поразил в своё время воображение Достоевского, причём, вероятно, поразил масштабностью охвата широчайшего эпохального контекста образа Обломова: от античности до современности. Гончаров любовно

описал детство Ильи Обломова, а вместе с тем и детство всего человечества (идиллия «Золотого века»), возводя психологический феномен Обломова — в перл создания. В «Сне Обломова» Гончаров изображает глубины не только индивидуальной психологии Обломова, но и современного человека, отрывающегося от своей природно-патриархальной «пуповины»: эпического, неспешного древнего мира, вполне соразмерного естественным, не напрягающимся силам человека, живущего на земле пока ещё под теплым, материнским покровом природы и патриархального социума. В этом мире ещё нет представления об ускоряющемся беге времени, о необходимости ломки самого себя ради достижения отвлечённых целей, о систематичности, повышенной ответственности за свои поступки в чуждой или враждебно настроенной среде. Гончаров сталкивает в сознании читателя две огромных эпохи земной истории.

Несмотря на непосредственное читательское восхищение «Сном Обломова», Достоевский, с его обострённым восприятием идеи «золотого века» и концептуальным историческим мышлением, лишь позже смог вполне оценить именно масштабность гончаровского замысла, его умение проникнуть в область исторических эпохальных символов и их выражения в интуитивно-подсознательном. Несмотря на огромнейшие различия в способах изображения действительности, Достоевский также обращается к жанру-теме «сна», когда пытается ёмко и лаконично выразить свою историософию, своё представление о главных исторических фазисах развития человечества. «Сон смешного человека» (1877) так или иначе перекликается с сердцевиной замысла «Сна Обломова», хотя произведение Достоевского лишено роскошной пластичности «Сна Обломова». Достоевский в значительной степени абстрагируется от пластики образа, в то время как для Гончарова в образе (а не в «идее», которая для него не существует вне образа) кроется главная задача художника.

Говоря о «токах истории», пронизывающих гончаровские произведения, невозможно обойти вопрос о специфике выражения исторического у писателя. У Достоевского история проявляется как «история идей». Раскольников в «Преступлении и наказании» может, например, примерять на себя наполеоновскую идею «всё дозволено». Иное в романах Гончарова. Писатель далёк от того, чтобы прямо формулировать, обозначать то, ради чего проводится та или иная историческая аналогия. История в «Обломове», «Обрыве» не только составляет фон романного действия, она сплошь пронизывает произведение своими токами и является объяснением происходящего, объяснением характеров героев. Быт Обломовки и Малиновки, быт Грачей, в их связи с последующей эволюцией характера главного гончаровского героя, оказывается проникнутым воздухом исторического времени. Так, античные мотивы в «Сне Обломова» — лишь частное подтверждение того, что Гончаров мыслит широко исторически. За локальным временным моментом в его произведениях просматривается огромная историческая ретроспектива и перспектива. Достоевский не мог этого не чувствовать и не оценить. В «Сне смешного человека» замысел более формулируем, более абстрактен, более рационально выстроен, чем у Гончарова. Достоевский яснее, чем Гончаров, выражает свою историческую концепцию, и вслед за ним прибегает к жанру «Сна»<sup>25</sup>.

Обозначая место Гончарова в развитии романной формы, В. Г. Одинокоев писал: «Создавая особый тип романа, Гончаров органично вписывался в процесс развития реализма XIX в., объединяя два его течения: психологическое и социологическое... Таким образом, русский роман, пройдя через особую фазу, приблизился к симметричной точке на исторической спирали литературного развития, которая соответствовала пушкинскому периоду. Но теперь и жанр русского романа, и реализм как направление были обогащены “экспериментом” целого этапа литературы»<sup>26</sup>. Думается, что представление о значении Гончарова в развитии романной формы В. Г. Одинокоевым (равно как и О. Г. Постновым) упрощено. Как «Фрегат “Паллада”», так и романы Гончарова, в особенности «Обломов», дали русскому роману не только «социологическую» прививку, но — что гораздо более важно — историсофскую, основанную на решении проблемы: «Бог и Его замысел о человечестве». Здесь значение Гончарова трудно переоценить. Первым это почувствовал Достоевский, также мысливший масштабными религиозно-историсофскими категориями.

Что касается изображения внутренней жизни человека, то принято считать, что между Гончаровым и Достоевским существует огромное различие. Так, Е. А. Краснощёкова в своей книге делает тонкое замечание о причинах внутренней близости Гёте и Гончарова. Исследователь, опираясь на выводы М. М. Бахтина, отмечает, что Гёте, в отличие от Ф. Достоевского, тяготеет к изображению становления или воспитания человека. Различные состояния его души выстраиваются в некую логическую последовательность. Достоевский же изображает не становление, а испытание человеческой души. При этом различные этапы развития человека проявляются в кризисный момент одновременно и противоплагаются друг другу.

Спокойному «классическому» Гончарову ближе Гёте: «Гончаров, который развертывал свой мир вослед Гете, прежде всего, во времени, недаром остро ощущал разницу между собой как художником и Достоевским, который видел в мире “все рядом и одновременно”». Человеческую жизнь Гончаров представлял как смену естественных возрастных этапов, как историю человеческого взросления или невзрождения (преждевременного угасания), которая сопровождается изменениями (превращениями) всей внутренней структуры человека и его отношений с миром. Поэтому им и был создан русский роман “школы Вильгельма Мейстера” — “Обыкновенная история”»<sup>27</sup>.

В тонком замечании исследовательницы заключена, однако, лишь часть истины. Не учитывая религиозный настрой Гончарова, сближающий его с Достоевским, невозможно понять, что автор «Обрыва» изображает не только становление, но и испытание души человека. Собственно, Гончаров изображает испытание как становление личности, а не как резко очерченное драматическое событие (ср.: «Преступление и наказание»). Так испытываются все практически герои Гончарова — от Александра Адуева в «Обыкновенной истории» до Веры и бабушки Татьяны Марковны в «Обрыве». Такое же испытание претерпевает Илья Обломов. И не все гончаровские герои это испытание выдерживают.

Достоевский, никогда не высказывавшийся по поводу «петербургского» романа Гончарова «Обыкновенная история», уже в «Обломове» почувствовал нечто

родственное себе. Правда, Гончаров и Достоевский по-разному изображают (но не представляют для себя) истину, испытывающую героя. Для Достоевского это — Евангелие, с чётко обозначенным: «Аз есмь истина и путь». Гончаров изображает не Христа и не евангельскую истину в чистом виде. Его сюжет лишён религиозности как таковой. Евангельский свет разлит в его романах. Гончаров просецирует евангельскую истину на обычную практическую жизнь современного человека, взятого не в чрезвычайных ситуациях. Он ставит вопрос о приложении христианства к обычной жизненной практике современного цивилизованного человека. Испытание его героев мыслится как эволюция их внутренней жизни. В зависимости от того, как они его выдерживают, они, между прочим, получают свои фамилии: АД-уев, РАЙ-ский.

И Достоевский, и Гончаров, таким образом, идут от Евангелия. Оставаясь в лоне русской духовной традиции, они оба изображают не только испытание человеческой души, но и её преображение. Евангельская антропология зиждется на следующей модели человеческой жизни: грех — покаяние — воскресение. Так построен роман «Преступление и наказание», где в эпилоге Раскольников берёт в руки Евангелие, воскресая душой от совершённого греха через осознание своего преступления (греха). Так строится и роман «Обрыв», в котором показан не только грех женского (и вообще общечеловеческого) срыва («обрыва»), в основании которого лежит духовная болезнь современного общества (отступление от веры, нигилизм, антихристианство), но и покаяние, и воскресение.

<sup>1</sup> Булгаков В. Лев Толстой в последний год его жизни. — 1920. — С. 5.

<sup>2</sup> См.: Мельник В. И. Гончаров и Православие. — М., 2008.

<sup>3</sup> Цейтлин А. Г. И. А. Гончаров. — М., 1950. — С. 394 — 395.

<sup>4</sup> Литературный архив. Материалы по истории литературы и общественного движения. — В 6 т. — М.—Л., 1938—1961. — Т. 6. — С. 305.

<sup>5</sup> Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч. — В 30 т. — Л., 1972—1988. — Т. 28. — Кн. 1. — С. 120.

<sup>6</sup> Арест состоялся 23 апреля (Летопись жизни и творчества Ф. М. Достоевского. — В 3 т. — СПб., 1993. — Т. 1. — С. 160).

<sup>7</sup> Сведений о том, что Гончаров приступил к цензурованию журнала нет, но, во всяком случае, 4 ноября 1858 г. Санкт-Петербургский цензурный комитет известил М. М. Достоевского о разрешении ему издавать журнал «Время» и препровождает при этом «Билет» на предоставление корректурных листов цензору И. А. Гончарову (Летопись жизни и творчества Ф. М. Достоевского. Т. 1. С. 252).

<sup>8</sup> Достоевский. Материалы и исследования. — Л., 1935. — С. 531.

<sup>9</sup> Там же. — С. 532.

<sup>10</sup> Алексеев А. Д. Летопись жизни и творчества И. А. Гончарова. — М.—Л., 1960. — С. 94.

<sup>11</sup> Летопись жизни и творчества Ф. М. Достоевского. — В 3 т. — СПб., 1993. — Т. 1. — С. 256.

<sup>12</sup> В «Летописи жизни и творчества Ф. М. Достоевского» (Т. 1. С. 260) со ссылкой на то же письмо к брату ошибочно утверждается, что Достоевский «положительно отзывался» о романе «Обломов».

<sup>13</sup> Специфику гончаровской эстетики попытался определить В. Г. Белинский: «Он поэт, художник — и больше ничего. У него нет ни любви, ни вражды к создаваемым им лицам, они его не веселят, не сердят, он не дает никаких нравственных уроков ни им, ни читателю...»

(И. А. Гончаров в русской критике. Сб. статей. – М., 1959. – С. 32). А. А. Григорьев писал, что дарование Гончарова — это «чисто внешнее дарование без глубокого содержания, без стремления к идеалу» (*Григорьев А. Искусство и нравственность*. – М., 1986. – С. 197). А. Григорьев выразил Гончарову упрёк в «азбучной морали». Суровый приговор выносит он роману «Обломов», который, по его мнению, «построен на азбучном правиле; «возлюби труд и избегай праздности и лени — иначе впадешь в обломовщину и кончишь, как Захар и его барин» (*Григорьев А. Искусство и нравственность*. – М., 1986. – С. 192). Представление об отсутствии или «азбучности» идеалов писателя, к сожалению, укоренилось. Через два года после Григорьева уже Д. И. Писарев безапелляционно заявил о том, что «Гончаров по плечу всякому читателю, то есть для всякого ясен и понятен» (*Писарев Д. И. Литературная критика*. – В 3 т. – Л., 1981. – Т. 1. – С. 138). Кажется, что Гончаров с олимпийским спокойствием воспроизводит жизнь, не пытаясь воздействовать на читателя и не выдвигая авторского идеала. Разумеется, это далеко не так. Не случайно более поздние критики упрекали романиста в дидактичности. Так, Н. Ахшарумов писал после выхода «Обломова»: «...Автор не довольствовался простым юмористическим изображением обломовщины в борьбе с враждебными ей началами; нет, он хотел взглянуть на эту борьбу как моралист и философ, хотел произнести свой суд и свой приговор...».

<sup>14</sup> Летопись. – Т. 1. – С. 282.

<sup>15</sup> Светоч. – 1860. – № 1. – Отд. III.

<sup>16</sup> Милуков А. П. Русская апатия и немецкая деятельность // Роман И. А. Гончарова «Обломов» в русской критике. – Л., 1991. – С. 126.

<sup>17</sup> Там же. – С. 142–143.

<sup>18</sup> Комментаторы ПСС Достоевского пишут по поводу «петербургской доминанты» в образе Обломова: «Возможно, эта запись представляет собой фрагмент задуманной, но неосуществлённой “передовой статьи” “О помещичестве и белоручничестве в нашей литературе”» (20. 391).

<sup>19</sup> Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч. – В 30 т. – Л., 1981. – Т. 22. – С. 44.

<sup>20</sup> Бланк К. Мышкин и Обломов // Роман Ф. М. Достоевского “Идиот”: современное состояние изучения. – М., 2001. – С. 476.

<sup>21</sup> См.: Мельник В. И. И. А. Гончаров как религиозная личность: (биография и творчество) // *Studia Slavica Hung.* – 1995. – № 40. – С. 23–32; *Он же*. О религиозности И. А. Гончарова // *Русская литература*. – СПб., 1995. – № 1. – С. 203–212; *Он же*. О своеобразии религиозности И. А. Гончарова // *Русская литература XIX века и христианство*. – М., 1997. – С. 164–172. Развёрнуто о романе «Обломов» см. нашу работу: *Евангельские блаженства в романе Обломов* // *Tusculum slavicum. Basler Studien zur Kulturgeschichte Osteuropas. Band 14.* – Zurich, 2005. – P. 171–184.

<sup>22</sup> Бланк К. Мышкин и Обломов. – С. 473.

<sup>23</sup> Достоевский Ф. М. Письма. Т. II. – М.-Л., 1936. – С. 169.

<sup>24</sup> Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч. – В 30 т. – Л., 1972–1988. – Т. 22. – С. 105. Далее ссылки на это издание даны в тексте.

<sup>25</sup> Ср.: Молнар А. «Сон Обломова» и «Сон смешного человека» (соотношение полноты и части в сновидениях о «Золотом веке») // И. А. Гончаров. Материалы Международной научной конференции, посвященной 195-летию со дня рождения И. А. Гончарова. – Ульяновск, 2008. Статья венгерской славистки Анжелики Молнар посвящена сравнению «Сна Обломова» и «Сна смешного человека». Правда, сравнение это проведено на столь обобщённом уровне, что совершенно не затрагивается хотя бы внутренний, авторский контекст обоих произведений. Более того, почти не затрагивается и самый текст «Сна Обломова» и «Сна

смешного человека». Отсюда крайняя абстрагированность выводов, по сути мало что добавляющих к пониманию творчества и мировоззрения обоих писателей, не говоря уж об их сравнении: «Подытоживая наш краткий анализ, можем прийти к выводу, что рассматриваемые нами литературные сны о Золотом веке на разных уровнях развертывают проблематику полноты и части, которая является метапоэтическим отражением метонимической связи целостности мифа и обломочного характера сновидения, ячейки, из которой развивается субъектность, порождающая текст. Поставленная в начале проблематика сна и мифа, целого и части раскрывается параллельно как в тематических мотивах, так и в семантическом мире текстов, и к тому же создает особые нарративы в этих двух произведениях литературы. Часть (сон), в которой комплексный мир Золотого века создается из деталей, представляет собой становление у Достоевского, отход от “разорванности и раздробления”, обозначенного “трехопадением”, и обобщенный, замкнутый образ у Гончарова, включающий в себя “ломку” и “падение”» (С. 343.).

<sup>26</sup> *Одинокое В. Г.* Художественная системность русского классического романа. – Новосибирск, 1976. – С. 143–144.

<sup>27</sup> *Краснощекова Е. А.* Гончаров. Мир творчества. – СПб., 1997. – С. 54.